

ПЕТР АЛЕШКОВСКИЙ

**СЕДЬМОЙ
ЧЕМОДАНЧИК**

Петр Алешковский
Седьмой чемоданчик

«Автор»

1998

Алешковский П. М.

Седьмой чемоданчик / П. М. Алешковский — «Автор», 1998

«Седьмой чемоданчик» – повесть-воспоминание, написанная на пределе искренности, но «в истории всегда остаются двери, наглухо закрытые даже для самого пишущего»...

© Алешковский П. М., 1998

© Автор, 1998

Содержание

I. Посвящается Акутагаве	5
Конец ознакомительного фрагмента.	9

Петр Алешковский

Седьмой чемоданчик

I. Посвящается Акутагаве

Обычно я читаю в электричках. Привычка осталась со студенческих лет; тогда я читал в метро – много и запоем. В те годы я жил на Красноармейской, с мамой и братом. Выходил на улицу рано, шел наискосок через пустырь, навстречу солнцу. Чуть откидывал назад голову. Ярко и щедро бил по глазам желтый огонь, в носу начинала свербеть и вертеться волшебная мушка, и наконец накатывал чих – не раз, не два, даже не три. Это у меня от бабки, наследственное.

Приползая с работы скрюченной буквицей своего пыльного архива, она в полудреме ужинала, затем отпивалась черным, как деготь, чаем с неизменной шоколадкой, раскрывала Достоевского или Толстого. Других книг под старость она вообще не читала, зато эти распахиwała наугад, пробегала глазами по буквам, как пианист по клавишам рояля. Убедившись, что настроено верно, вдруг замирала. Нечто животное появлялось сразу в позе, в начинающем ловить тепло настольной лампочки оживающем носе. Я с нескрываемым восторгом замирал рядом на табуретке. Бабка всегда смущалась чужого присутствия, но прогнать меня уже не хватало сил: токование с лампочкой – интимное, священное – захватывало ее, уставшую и больную. Мир отступал, глаза наливались слезой и блестели, не видели перед собой ничего, кроме теплого, все разрастающегося яркого желтого света.

Наконец следовал залп, другой догонял стоящее в ушах эхо, и... иногда я, безмолвно шевеля губами, насчитывал до семнадцати. После нас отпускало. Не сразу, помаленьку. Мы встречались глазами. Я ловил ее улыбку, смущенную, женственную, мягкую, едва проступающую сквозь всегда напряженное, настроенное на подвох и провокацию мира лицо. И всегда, потупив взор и вдруг вспыхнув по-девичьи, с молодым негодованием и одинаковым ударением она фыркала:

– Дур-ракк!

И выпускала громко воздух сквозь ноздри. По правде, выходило что-то арабское, сонорное, с «кнн» на конце. В тот миг она казалась счастливой, словно скидывала разом с плеч усталость дня и лет.

Наверное, звон еще стоял в голове – мгновение бабка прислушивалась к чему-то, затем зажигала сигарету, с силой прикусив бумажный фильтр зубами.

Курила она болгарские сигареты с лопухой собакой на пачке – они исчезли еще тогда, и больше я никогда их не встречал. Потом, до смерти, курила «Опал», «Стюардессу», «Ту», но всегда сильно прикусывала фильтр, оставляла на нем следы зубов – привычка, пошедшая от прихвата папирос.

Жадно прикончив сигарету, она садилась в большое кресло и чаще всего задремывала в нем сразу, но иногда все же читала «своих». Заученные наизусть тексты романов доставляли ей удовольствие. Бабка, хотя и родилась в самом начале нашего века, жила в девятнадцатом столетии. Это я понял после ее смерти.

Маленькая, наконец расслабившаяся в большом и широком кресле-кровати – нелепом произведении советских шестидесятых, она листала томик, теплый свет согревал лицо, руки и книгу. Все обязательно кончалось громким, бесстыдным храпом. Бабка была строга и мало думала о том, какое впечатление производит на окружающих. В ее резком голосе часто звучали командные, генеральские нотки. На работе перед ней трепетали – могла отбрить, язык у

нее был стержневой и точный. Глядела всегда в глаза собеседнику, говорила о деле; мягкой и женственно-беззащитной видел ее, вероятно, я один.

Она, кстати, была красавица из редких. Смуглое, правильного овала лицо, большие серые, невероятной глубины глаза достались в наследство от матери, урожденной Рукиной, миниатюрная, но правильная фигура и изящная кисть пианистки – от обрусевших греков Зографов. В детстве бабка подавала большие надежды в музыкальном училище Зограф-Плаксиной. Но переиграла руки, и звезда не возшла. На концерты ходила исправно, но к инструменту не прикасалась ни разу, его и дома не было. Хотя однажды, на отдыхе, в каком-то клубе, я поймал ее взгляд – бабка печально смотрела на рояль, как умеют смотреть героини в индийских фильмах. Еще так умела смотреть Мишель Морган в «Набережной туманов».

Я не зря помянул свою бабку. Умение читать со вкусом и прятаться за книгой у меня наследственное.

Все это вспомнилось, когда я сел в Выхине на пригородную электричку «Москва – 47 км». Стоял поздний декабрь, близко к Новому году, к Рождеству. Я ехал сторожить дачу, к друзьям, в пустой темный дом с тяжелыми зелеными ставнями. Их всегда лень развинчивать, но приходится – света зимой и так мало, а сосны по Казанке известные: высокие, старые и густые, как и полагается корабельным деревьям.

Было еще не поздно, но уже накатывал сумрак. За окном белел свежий глубокий снег. Редкие пассажиры входили в вагон. Сквозь заиндевевшие двери врвался холод, и чистый запах снега пролетал по проходу. В женских волосах снег таял и блестел мелкими камешками. Я глядел, как он искрится и гибнет в жарком вагоне.

Настроение было поганое. Два несчастных пенсионера, привычно перебивающие за спиной косточки Чубайса и Черномырдина, слава богу, испарились уже где-то в Панках. Народу ехало немного. По вагонам брели нищенки и книгоноши, вплетая несчастье в визгливый голосок колес. В сумке, рядом с сосисками и четырьмя здоровенными мандаринами (купил детям и, как всегда, забыл выложить), лежал серенький томик Акутагавы. Я принялся за рассказ про мандарины – тот, где автор едет в поезде «Екосука – Токио» со случайной попутчицей. Я читал и пытался ощутить движение того поезда, запряженного паровозом, как он мчится в туннелях будто назад, но на Казанке туннелей нет. Лишь раз, когда по параллельному пути налетел догоняющий электричку скорый и мы закачались в унисон, возникло ощущение обратного хода. Поезд был старый, давно не мытый, как днище дачной сковородки. Я представил, как далеко, по немой, продуваемой степи, его тащит допотопный паровоз или копящий небо дизель, и сажа оседает на стеклах, на растрескавшейся краске, и проводникам сперва лень оттирать ручки тряпкой на редких полустанках, а потом уже и все равно, потому как не оттереть. Но я не был в степи, той, куда умчался состав, только представил ее себе.

Акутагава прибавил к моему состоянию печальную ноту-две. Солнечные, оранжевые пятна на приглушенном, словно выгравированном пейзаже. Хотя в рассказе описана блеклая осенняя трава на склонах железнодорожного полотна.

На переезде, где поезд замедляет ход, случайная попутчица автора выбросила в форточку мандарины – прощальный подарок братьям, пришедшим ее проводить. Но даже яркие мандарины – оранжевые, летящие из окна – не влили в меня живого электричества. Скорее редкие окошки в занесенных снегом дачных домиках, маленькие, желтые и теплые, когда свет проступает сквозь занавеску или протекает через тряпичный абажур, скорее они были моими мандаринами в сером и все сгущающемся с каждой минутой воздухе мира, что убегал, надвигался и вновь убегал под визг буферов и вагонных колес.

Да, настроение было не только поганое, но еще и банальное, как белые слоники на полке, как песенка с рифмой «кровь – любовь».

Я уже не читал, я закрывался книжкой от них, от полупустого вагона, вспоминал какое-то окошко в монастыре или доме, похожем на монастырский, холодные деревья сквозь падающий

снег, и притягивающее окно с мандариновым светом, как марокканское солнце, и тихий зной среди насупленной Москвы, окно, где кто-то живет. Не знаю кто и знать не хочу.

Я заметил ее, вздрогнул и закрылся серым томиком Акутагавы, пробежал машинально по буквам глазами. Все в порядке – настрой, нота, одна, одинокая, печальная нота вибрирующей струны электронной гитары.

Я не хотел, чтобы меня заметили, но она, слава богу, и не замечала – тоже читала, что-то толстое и большое, похожее на Толстого, сосредоточенно и, если честно, некрасиво. Лицо ее, анемичное и меленькое, – у всей семьи меленькие лица, – большие серые глаза, а нос крошечный – ну не красавица, несомненно. При случайных наших встречах на ее щеках вдруг расцветает румянец да чуть смеются теплые глаза. Плохо скрываемаемая лукавая улыбка, немного таинственная и чистая, совсем немного и женственная, дает понять, что не забыто.

Давно – ей было шесть? – я пришел на день рождения к ее брату. Девочка путалась под ногами, требовала внимания, настойчиво, назойливо, – видно было, что избалована и любима, что центр и маленький тиран. Не знаю, почему (к столу не сажались, ждали последних приглашенных), я принял удар на себя.

Пристроил на колени, начал рассказывать сказку, импровизируя по ходу. Как рассказывал мне дед, как много позже я рассказывал их своим детям. Что-то про Царевну, Дракона и храброго негра Балумбу. Спасенная царевна была ему совсем не нужна. Девушку спешно выдали замуж за придворного фотографа, что умел угодить своим искусством не только королю и королеве, но и главному брадобрею, который, понятно, и правил всей страной. Презренного негра отблагодарили походя и не соответственно его героизму. Но он не обиделся, ушел в эвкалиптовый лес и запел свою песенку.

Девочка сидела смирно и слушала так, что мурашки бежали по моей спине.

Друзья с теплой иронией смотрели на нашу идиллию, и, конечно, родители умиленно и с благодарностью поминутно заглядывали в комнату. Мы чувствовали себя в центре внимания. Это было приятно. Еще мы чувствовали друг друга – нам было интересно и необычно.

Затем был стол, водка, после – танцы. Братец ее появился неожиданно, оттеснил меня в угол, протянул сестрину руку, маленькую руку шестилетней девочки.

– Она хочет тебе что-то сказать.

– Я люблю тебя, – твердо заявила она и потупилась, но руки не отпустила.

Я распушил хвост. Я топтался в вальсе с малышкой, и опять все переглядывались, и родители млели от счастья. Невинно, чисто, чинно, старомодно, галантно. В ней тогда было столько счастья.

Потом мы не раз встречались. Сперва она всегда говорила: «Помнишь?» «Конечно», – отвечал я.

Сейчас, в электричке, спрятавшись за томик Акутагавы, вперившись в его простой рассказ, я вспомнил, вспоминал и уже не глядел, не подглядывал, просто растворился среди букв, словно сам вошел в книгу и стал героем на далеких островах, и почему-то только молил, чтоб она прошла, не заметила.

Затем отвернулся к окну, считал станции, ей было сходить за две до моей.

Конечно же, она подошла. Коснулась плеча:

– Привет!

Щеки ее горели, как два красных померанца из императорского сада. Вдруг она показала мне похожей на гейшу из календаря – роскошную, отстраненную, но трогательную и немного беззащитную, ровно настолько, насколько и надо усталому от битв самураю. Книга в руках – толстый том Борхеса, а вовсе никакой не Толстой. Борхес с его холодным умом, настаивающий точностью слов, скупым талантом поэта, отрицающего прямую, незащищенную эмоцию, а если и признающего ее, то только как банальность банальности мира, где потемки, и вся культура в прошлом, и лишь мелкие и редкие, подобно отблескам ночного костра, сияют

ее отдельные алмазы, как снежинки в волосах женщин нашего вагона. Сияют слегка сквозь мутное стекло, и тают, и растекаются по полу жирными непрочтенными иероглифами неведомых мудрецов.

Две-три фразы ни о чем, о своей семье, о детях – яркая, открытая улыбка при их упоминании, легкая грусть или даже непонятный испуг при упоминании мужа и лукавость, так и не исчезнувшая, при взгляде глаза в глаза.

Ее встречал муж, рядом жался к ноге замерзший здоровенный мышиный дог – у них всегда были в доме собаки. Они приветливо помахали мне, я помахал в ответ. Потом запихнул Акутагаву между мандаринами и сосисками.

Затем шел по запорошенной свежим, глубоким снегом улице, глядел, как просыпаются сквозь желтые фонари белые блестящие кристаллы. Зачем-то вытащил и съел мандарин, а кожуру раскидал вокруг. Она упала в пух и затонула.

Я пошел дальше и уже предвкушал тепло, свет, обязательно желто-оранжевый абажур – у друзей на даче старый и с бахромой. И еще сосиски. Я порежу им кончики крестом, и они станут похожи на щупальцы. Они будут шкворчать на сковородке в очищенном подсолнечном масле, бочки их запекутся и подрумянятся. Рядом я пожарю картошку, нарежу ее мелко-мелко, у меня есть хороший нож. Форма его повторяет изгиб самурайского клинка, только почему-то изготовлен он в Пакистане, а куплен в Америке, под Далласом, в старомодном городе Форт-Уорс, в туристической лавке у маленькой, опухшей от сна филиппинки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.